

ДИАЛОГ ИСТОРИКОВ О НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ

(*П.С. Кабытов, О.Б. Леонтьева* *)

П.С. Кабытов. Когда вчерашний школьник выбирает вуз, куда он пойдет учиться, он может исходить из самых разных соображений. Он может, например, чувствовать, что ему по силам учиться в Московском университете, или осилить программу физико-технологического института, или, допустим, рискнуть поступить в институт международных отношений. Но если для москвичей при этом относительно легко решаются вопросы повседневной жизни, – есть квартира, есть родители, не надо никуда ехать, не стоит проблема, где жить, – то абитуриент из провинции должен учитывать множество обстоятельств. Способны ли его родители помочь ему получить образование (может быть, он сам об этом не думает, но родители-то думают непременно)? Где он будет жить в Москве? Если абитуриент, а потом студент живет у родственников, то возникает множество проблем совместимости характеров, согласования интересов родственников и его личных интересов. И не всегда родственники так уж рады дать приют студенту-провинциалу. Обычно они по-настоящему радуются только тогда, когда студент заканчивает учебу и наконец уезжает; хотя это вслух и не говорится, но в воздухе ощущается. А чтобы жить в общежитии, нужно отойти от привычного жизненного уклада, по сути дела, сломать себя, потому что привычки и неписанные традиции обычной семьи ни в коей степени не совместимы с той жизнью, которая идет в общежитии. Если взять мои воспоминания об «общежитских» годах, то, за редким исключением, жизнь в общежитии начиналась где-то часов в одиннадцать вечера, а заканчивалась для некоторых где-то в четыре или пять утра. Это не значит, что все так жили; но те, кто вел ночной образ жизни, не давали жить другим. Допустим, ты только что уснул – и тут вдруг вламывается толпа людей, включают свет, начинают жить своей жизнью, а на тебя смотрят в лучшем случае как на чудака. И от этого никуда не уйдешь, невозможно закрыться, уединиться хотя бы на несколько часов – для этого нужно, чтобы те четыре человека, которые живут в одной комнате с тобой, куда-то все одновременно ушли, провалились. Поэтому процесс адаптации для молодого человека, который до этого жил в семье, был «домашним», может быть очень трудным. Поэтому у меня вопрос такого плана: из чего исходили вы, выбирая место своей учебы? Для начала: в какой школе вы учились?

О.Б. Леонтьева. В 29-й, на улице Челюскинцев.

П.К. Эта школа давно существует?

О.Л. Давно. Не знаю точно, с каких пор, но раньше она находилась в том

* © Кабытов П.С. – доктор исторических наук, профессор, первый проректор Самарского государственного университета, 2010

© Леонтьева О.Б. – доктор исторических наук, профессор Самарского государственного университета, 2010

здании, где сейчас духовная семинария, на Радонежской. Это очень хорошее здание, великолепной старой постройки, с толстыми стенами, зимой там всегда было тепло и уютно. А потом, где-то в 1982 году, когда я перешла в пятый класс, нас переселили в новое школьное здание, а в старом открыли Дом пионеров, и я ходила туда в драмкружок.

П.К. Да, когда впоследствии здание Дома пионеров отдали семинарии, Октябрьский район фактически лишился прибежища для детей, где они могли заниматься танцами, творчеством... А вообще меня несколько удивило то, что вы учились в обычной школе. Мне самому часто задавали вопрос, почему мои дети, Катя и Николай, учились в обычной школе. Катя начинала учиться в 41-й школе, на улице Молодогвардейской, потому что там выделили два этажа нашему историческому факультету, у нас там шли занятия, поэтому было удобно взять дочь за руку, отвести в школу, а потом, когда занятия закончатся, забрать ее и отвести домой. И мне часто задавали вот какой вопрос: как же так, вы кандидат наук, доцент, жена у вас потом стала кандидатом наук и доцентом, и, мол, неужели у вас в голове даже мыслей таких не возникало – отдать детей в специальную школу? Вопрос к вам, кстати. Я-то ответил на этот вопрос?

О.Л. Петр Серафимович, хотя, по большому счету, это вопрос не ко мне, а к моим родителям, но я могу сказать, что у нас в семье тоже не возникало даже мыслей о том, что дочь нужно отдавать в какую-нибудь специальную школу. Никто этого не добивался. Я пошла учиться в ту школу, которая была ближе к дому.

П.К. Что ж, это однозначный ответ. Я считаю, что сама по себе школа не очень важна, особенно общеобразовательная. Все зависит от тех целей в жизни, которые избирает человек. Можно окончить московскую школу имени Зои и Шуры Космодемьянских и быть негодяем. А можно окончить сельскую школу и вырасти достойным человеком...

Скажите, а почему вы выбрали именно исторический факультет? Были ли в школе любимые предметы и нелюбимые?

О.Л. Ну, любимым предметом у меня всегда была литература...

П.К. А учиться, тем не менее, вы пошли на историка?

О.Л. Наверное, я вас разочарую своим ответом, но тут тоже решение далось очень просто. Когда в девятом–десятом классах встал вопрос о выборе будущей специальности, мне было совершенно ясно, что это будет специальность гуманитарная. Точные науки мне легко давались, но особой склонности я к ним не питала, так что колебалась между филологическим и историческим факультетами. А мне все говорили: ну зачем тебе этот филфак? Представь себе, пойдешь работать в школу учительницей русского языка и литературы, и будешь каждую ночь проверять гору тетрадок с диктантами и сочинениями...

П.К. Я так понял, что у вас в школе не было такого учителя истории, который мог зажечь интерес к своему предмету?

О.Л. К сожалению, нет. Единственное, что могу сказать – у меня в семье все очень любили историю, начиная с бабушки, которая мне в детстве вместо сказок рассказывала про Петра Первого... Да и папа у меня всегда интересуется историей, особенно отечественной – историческими загадками, биографиями знаменитых личностей...

П.К. Значит, здесь все же сказалось влияние семьи?.. А почему вы выбрали университет, а не педагогический институт? В принципе, если посмотреть на географическое расположение вашего дома, то улица Льва Толстого к вам все-таки ближе, а университет стоит где-то в «козьей слободе», какие-то неизвестные дяди и тети там преподают...

О.Л. Нет, очень даже известные! Я же с девятого класса ходила и в школу юного историка, и на подготовительные курсы при историческом факультете. До сих пор помню, что первой лекцией, которую я прослушала в своей жизни, была лекция Юрия Николаевича Смирнова по эпохе дворцовых переворотов. Это было настолько блестяще, ярко и интересно, что с тех пор для меня не было сомнений, куда именно поступать. А в десятом классе весь учебный год я ходила на подготовительные курсы, лекции по отечественной истории там читал Эдуард Львович Дубман, и это тоже было потрясающе ново и интересно. Они оба работали с будущими абитуриентами не для отписки, не для галочки. Эдуард Львович так вдохновенно рассказывал про Поволжье шестнадцатого века, что я с тех пор на всю жизнь запомнила, например, имя купца Надея Светешникова... А в дополнение к лекциям он нам читал стихи А.К. Толстого, про то, что «земля у нас богата, порядка только нет»...

П.К. Да, эта проблема у нас до сих пор актуальна. А вставала ли перед вами потом проблема адаптации к студенческой жизни? Все-таки школа – это одно, а вы пришли в университет, встретились с совершенно иной ситуацией, где вольность, можно было так вот уплыть куда-нибудь...

О.Л. Да, я помню это ощущение новизны: в университете нас ждала новая система работы, совсем не похожая на школьную, лекции и семинары радикально отличались от привычных уроков. Помню ощущение свободы: кончилась школа, где, как ни крути, ты все время под постоянным контролем...

П.К. Под колпаком. И девочка должна выполнять ту роль, которая ей предназначена.

О.Л. Каждый должен выполнять ту роль, которая ему предназначена. Причем эти роли расписаны еще на уровне начальной школы: кто отличник, кто активист, кто хулиган, а кто неисправимый двоечник, и так далее... Поэтому первое, что меня поразило и восхитило в университете – отсутствие

этого тотального контроля. Помню чувство удивления, когда я поняла, что здесь преподаватели не спрашивают никого по журналу, не вызывают к доске, что в целом действует принцип добровольности: хочешь – готовишься и отвечаешь, не хочешь – тихо отсиживаешься где-нибудь на «галерке»... Непривычно, но интересно было то, что на дом задают не параграфы из учебника, а целые списки литературы, что надо было идти в библиотеку, искать эти книжки, отстоять за ними очередь, собрать, иногда по крупицам, нужную информацию... Но, конечно, самоконтроль оставался, и был не менее жестким. Помню, перед семинаром по средним векам мы с подружкой, Машей Еньковой, поздно вечером ездили через весь город к другой нашей однокурснице, Иоланте Наумовой, потому что только у нее на руках была книжка Неусыхина. И мы, как сумасшедшие, весь вечер напролет выписывали куски из этого Неусыхина, чтобы подготовиться к семинару. Первый курс...

П.К. А в те годы еще сохранялось обязательное конспектирование классиков марксизма-ленинизма?

О.Л. А как же. Мы ведь еще изучали историю КПСС. Я поступила в университет в конце 1980-х годов, и, по-моему, мы были последним курсом, испытывавшим это «счастье»...

П.К. Значит, у вас была и марксистско-ленинская философия, и политэкономия?

О.Л. Философия была, но уже не вполне марксистско-ленинская. Курс философии у нас читала Наталья Юрьевна Воронина, которая теперь возглавляет Самарскую гуманитарную академию, и это были совершенно нестандартные лекции. Помню, как Наталья Юрьевна, – тоненькая, в элегантном черном костюме, с пышным ореолом светлых волос, – вошла к нам на свою первую лекцию, встала за кафедру и как-то очень легко и непринужденно произнесла: «Основной вопрос философии – это не вопрос о том, что первично, а что вторично: бытие или сознание. Основной вопрос философии – это вопрос о смысле человеческой жизни». Конечно, после такого вступления мы затаили дыхание! А дальше она рассказывала нам про Ильенкова и Мамардашвили, про Сартра и Камю, и для нас, вышедших из советской школы, это было расширением горизонтов сознания, открытием совершенно нового мира.

П.К. А историю КПСС кто у вас вел?

О.Л. Симатов, конечно.

П.К. Кинофильмы показывал?

О.Л. И не только кинофильмы... Он нам приносил в аудиторию телевизор, и мы смотрели в прямом эфире трансляцию первого Съезда народных

депутатов. Он задавал нам не только труды «классиков», но и, скажем, остроактуальные статьи из «Огонька» про Бухарина, про «ленинское завещание», про культ личности Сталина... В общем, даже история КПСС была в те годы по-своему интересной. Но конспекты классиков марксизма-ленинизма, конечно, приходилось делать, и не скажу, чтобы это было самым увлекательным занятием...

П.К. А у вас на курсе поддерживалась старая студенческая традиция – «конспекты с конспектов»?

О.Л. Ну да, я свои конспекты всегда давала списывать. Не знаю, сколько человек они обходили... и во что превращались в конечном итоге...

П.К. А как складывалась жизнь вне вуза? Где студенты собирались, куда ходили? Допустим, в наши студенческие годы в Казани мы могли пойти на танцы в Дом ученых, или на вечера в здании химического корпуса университета, где находился исторический факультет, ну, или в общежитие... Помню, в общежитии танцы начинались где-то после десяти часов в субботу или воскресенье; диджеев тогда не было – крутили пластинки или магнитофон такой примитивный, большой, где-нибудь в углу стоял... А вот как складывалась студенческая повседневность у вас?

О.Л. Да, наверное, очень похоже – времена не так уж сильно изменились по сравнению с вашими студенческими годами. Точно так же ходили на вечера в общежитие, собирались там у кого-нибудь в комнате, где комната была побольше и попросторнее, танцевали, пели песни под гитару.. Особенно любили на нашем курсе бардовские песни – Володя Климов, Лариса Никишкина потрясающе пели под гитару, знали множество песен, и философских, и лиричных... Весь репертуар Окуджавы, Визбора, Кима я знаю наизусть именно с тех лет. Ну и, конечно, вся наша археологическая практика прошла под бардовские песни...

П.К. И, конечно, значительный интерес вызывала музыкальная, художественная жизнь?

О.Л. Да, в те годы были потрясающие «студвесны». Мода на КВН пришла чуть позже, а вот студвесны превращались в самые настоящие спектакли на актуальные сюжеты, часто даже на политические темы.

П.К. Уже тогда студенты истфака непременно плясали канкан на сцене или эта мода тоже пришла позднее?

О.Л. Нет, тогда плясали ламбаду. Рубеж восьмидесятых-девяностых был очень интересным временем, потому что именно тогда шло бурное, стремительное освобождение от советской идеологии, и, как всегда бывает, это освобождение началось со студенчества. Ведь когда мы учились в школе, система преподавания была, безусловно, советская, глубоко идеологизирован-

ная. Гуманитарные предметы преподавали по такой схеме: существует некая единственно верная точка зрения и единственно правильная логика мышления, эту логику и эту точку зрения можно найти в определенных книжках, ее следует запомнить, выучить наизусть, и ты готов к ответу на экзамене или к выпускному сочинению. Причем «единственно правильная точка зрения» предусматривалась на все: на исторические события, литературные произведения и их персонажей и на те азы обществознания, которые были заложены в школьной программе...

П.К. Обществоведения.

О.Л. Да, тогда этот предмет назывался обществоведением. И только в университете, на первом или втором курсе, я сделала для себя очень важное открытие, которым, помню, была совершенно потрясена. По сути дела, я поняла, что есть разные логики мышления, что существует множество систем, объясняющих мир, что может существовать множество взглядов на одну и ту же проблему, причем нельзя сказать, что какой-то из них верный, а все остальные неверные: каждый из них интересен по-своему... Я помню, что уже на первом курсе, когда кто-то из преподавателей начинал активно внедрять в наше сознание постулаты марксизма-ленинизма, социалистические шаблоны, это вызывало протест, эмоциональное отторжение. Мол, хватит, сколько можно, у нас еще в школе все это в зубах навязло...

П.К. Вы поступили в университет в 1989 году?

О.Л. Нет, в восемьдесят седьмом.

П.К. То есть в пору «муравьевских митингов» вы были еще школьницей?

О.Л. Уже студенткой. Митинги против Муравьева [первого секретаря областного комитета КПСС в ... – 1988 гг.] прошли летом 1988-го, мы как раз были в археологической экспедиции. Помню, приезжают родители меня навестить, сидим мы на бревнышке, пьем кофе с бутербродами, и вдруг они невзначай сообщают: «Вы тут знаете, что у нас происходит? У нас Муравьева свергают». Так что в тот раз политика прошла мимо нас.

П.К. Вам в экспедиции удалось сварить кашу? Или там повар был?

О.Л. Нет, мы дежурили по очереди. Мне очень повезло: моей напарницей оказалась Галя Николаева, которая замечательно готовила. Я делала все вспомогательные работы, вроде чистки картошки, она от меня ничего большего и не ждала, а я тогда готовить совсем не умела.

П.К. Я в этой ситуации вспоминаю рассказ Аннеты Яковлевны Басс о том, как они с однокурсниками, студентами Ленинградского университета, работали на лесоповале. Дело было после войны, народ в университете собрался довольно внушительных размеров, и юноши, и даже девочки были

мошныe. А Аннeта Яковлeвна вceгдa былa малышкoй. Вот oнa oдин дeнь пoрaбoтaлa нa этoм лeсoпoвaлe, сoбирaлa сучьe, – нo и сучoк пoднять eй дoстaтoчнo слoжнo былo, – a пoтoм ee oднoкурсники придумали вот чтo. Oнa, кстaти, училась вмeстe с Анaньичeм и с Пaнeяxoм – тaкaя пoдoбрaлась кoмпaния. Oни рeшили ee бoльшe с сoбoй нe брaть, скaзaли: «Нeтoчкa, ты нe oбидaйся, мы тeбe нaшли зaнятиe, ты будeшь вaрить кaшy». И вoт пoдoшлa oнa к грoмaднoй плитe, и выяснилось, чтo тaм eщe и кoтeл бoльшoй – oнa дaжe нe мoжeт дo нeгo дoстaть. Тoгдa oднoкурсники скoлoтили eй тaбурeтку, дaли длинную пaлку, зaoстрeнную в видe лoпaтки, чтoбы мoжнo былo eю в кoтлe пoмeшивaть, и вoт тaк Аннeтa Яковлeвна нeскoлькo днeй пoрaбoтaлa... Пoтoм чтo-тo случилoсь, oнa упaлa, слoмaлa руку, и ee пришлoсь увoзить oбрaтнo в Питeр. А у вaс этa пoвсeднeвнoсть aрxeoлoгичeскaя oбoшлась бeз трaвм?

О.Л. Абсолютно без травм. Было очень интересно, хотя и обидно, что другая экспедиция, работавшая по соседству, нашла больше – им удалось раскопать целый погребальный комплекс, конное захоронение с оружием и украшениями, а нам попадались в основном глиняные черепки и пряслица... Зато на всю жизнь запомнились вечера в экспедиции, с песнями у костра, с разговорами обо всем на свете, о прошлом и о настоящем.

П.К. Есть такое древнее китайское проклятие: «Чтоб ты жил в эпоху перемен!» А что вы можете сказать о своей жизни в эпоху перемен? Она была серой, скучной – или она была все-таки насыщенной и интересной, иной, чем жизнь в советскую эпоху?

О.Л. Потрясающе интересной, хотя и очень трудной в бытовом плане, особенно в ранние 1990-е.

П.К. Знаете, что меня тогда особенно потрясло? Я как-то вообще с большим недоверием отношусь к людям, которые вчера были профессорами, а сегодня стали главами города. Когда я приезжал в 1992, 1993 годах в Москву, я был в шоке. Я никогда Москву такой не видел. Полки были пустыми. Впервые витринная матушка-Москва оказалась обнаженной. А почему? Потому что мэром Москвы стал Гавриил Попов, «выдающийся» – в кавычках – экономист. Вы не поверите, но я отсюда, из Самары, возил тогда своим друзьям в Москву колбасу, водку, молочные продукты, даже творожную массу «Самара-Лакто». И они меня ждали, они от этого «продпайка» были просто в восхищении. Когда я приезжал в Москву, для них это был праздник, понимаете?

О.Л. По поводу «продпайка» у меня есть свои воспоминания. Мы в 1991 году, летом, ездили на музейную практику в Ленинград – тогда еще это был Ленинград, – и руководителем практики у нас был Владимир Владимирович Кутявин. Он, как ленинградец, конечно, стремился показать нам город «по максимуму»; однажды он сказал: «Сегодня постарайтесь выспаться днем, а ночью мы пойдем гулять по городу, смотреть на белую ночь». И вот

вечером, где-то часов в девять, мы вышли из общежития, пешком дошли до Дворцовой площади, посмотрели, как разводят мосты над Невой, а потом через весь город, через жемчужную белую ночь, неторопливо пошли обратно. И когда уже подходили к своему общежитию, увидели такую картину: магазин, вывеска «Мясо», абсолютно пустая витрина – хоть шаром покати, – и посередине этой витрины лежит, свернувшись, огромный рыжий котяра.

П.К. Действительно, красиво.

О.Л. Жаль, не было фотоаппарата, потому что это был бы памятник эпохе!

П.К. Ну, вообще на рубеже 1980-1990-х события шли с обвальной скоростью. Никто не ожидал, что Горбачев так быстро сдаст все, и если поначалу были иллюзии по поводу возможной реанимации КПСС, то в 1991 году они развеялись мгновенно... Мне довелось в 1992 году приехать в Казань на защиту очередной кандидатской диссертации, я пришел в гости к моему давнему другу Бухараеву, и вот какую историю он мне рассказал о своем отце. А отец его в свое время был заведующим лекторской группы обкома КПСС, к началу 1990-х уже вышел на пенсию и возглавлял партийную группу при домоуправлении. Так вот, когда началась вся эта катавасия с крахом ГКЧП и Горбачева, то Бухараеву-старшему стали звонить домой члены КПСС: «Слушай, ты чего сидишь? Чего мы ждем? Мы должны выйти на улицу, отстаивать идеалы КПСС, завоевания революции, те блага, те преимущества, которые нам дала революция»... Что же, по-вашему, он им ответил? «Сидите дома, никуда не ходите». – «А почему нельзя выйти?» – «Нет команды». Команды нет, понимаете... Это очень симптоматично, потому что показывает, что партия рухнула не случайно. Когда все делается по команде, то отсутствие командарма ведет к деморализации, к распаду.

Конечно, то время само по себе было удивительно насыщенным. Переломный исторический момент, выбор пути общественного развития, свежий ветер, Цой там поет что-то невнятное про перемены, за окнами звучит совершенно иной шум, течение времени меняется...

О.Л. И историческая наука стремительно менялась. Сколько появлялось тогда новых публикаций – и по истории сталинского периода, и по истории дореволюционной России...

П.К. Вы стояли в очередях за газетами у киосков?

О.Л. Наша семья тогда выписывала «Огонек».

П.К. А из газет?

О.Л. Всегда выписывали «Правду», «Известия», «Литературку», «Комсомолку», которая была тогда совершенно другой – не бульварной, а политически острой газетой.

П.К. Кстати, «Комсомолка» первой опубликовала обращение Алексан-

дра Исаевича Солженицына...

О.Л. Да, и там же опубликовали его работу «Как нам обустроить Россию», отдельной брошюрой, с пунктирными линиями на газетном листе, чтобы было видно, как эту брошюру вырезать и как складывать странички. А сколько тогда появилось и интересных фильмов, и интересных спектаклей... «Покаяние» Абуладзе вышло на экран, по-моему, когда мы были на первом курсе; на втором или на третьем курсе мы всем коллективом ходили в драмтеатр на спектакль «Дальше... дальше... дальше», по Шатрову, где Ленин критикует Сталина за уклонения от демократии и гласности...

П.К. Вторая половина 80-х годов – это, безусловно, было время очень интересное, в какой-то мере напоминавшее первую половину 50-х годов. Только там все шло несколько иначе, и началось, как известно, с погромно-разгромного выступления Хрущева против «культы личности» Сталина. Я думаю, что на самом деле Хрущев был одним из самых ярких сталинистов, и под многими постановлениями о расстрелах стояла его подпись... Одним словом, он повинен в репрессиях не в меньшей степени, чем Сталин, Каганович, Молотов, Маленков и другие. Это была одна компания – палачей, которым было все равно, кого казнить – русских, татар, чувашей, евреев, чеченцев или кого-то еще... Их логика была проста: все, кто противостоит им или якобы противостоит, тот достоин – не просто кары, а «распыления». Это был термин эпохи гражданской войны, но употреблялся он и в 1930-е годы: человек должен стать пылью... А при Хрущеве, как и в 1980-е, в обществе поначалу преобладали настроения, которые можно выразить формулой «назад, к ленинизму». Утверждение демократии казалось «восстановлением ленинских принципов». Но можем ли мы однозначно считать, что Ленин – демократ? Разумеется, нет. По большому счету, уже с момента взятия власти Ленин выступает в качестве диктатора...

О.Л. Скорее, еще до момента взятия власти, потому что весь знаменитый спор на Втором съезде РСДРП, который привел партию к расколу на большевиков и меньшевиков, шел вокруг вопроса, должна ли РСДРП быть партией демократического или авторитарного типа. Что сам Ленин был лидером явно авторитарного склада – это совершенно очевидно. Еще Плеханов отмечал, что партии большевиков и меньшевиков строятся совершенно по-разному, что у большевиков «все вертится вокруг одного человека». И когда Михаил Иванович Леонов на своих первых лекциях рассказывал нам, что в партии эсеров не было ярко выраженного лидера, не было одного лица, к которому сходились бы все нити руководства, – это вызывало у нас шок и недоумение: как же это так – партия без единого лидера?

П.К. Все-таки даже во второй половине 1980-х годов многие ошибочно надеялись на то, что ситуацию можно поправить, что партию можно реформировать, что социализму можно придать какой-то человеческий облик. А что думали по этому поводу студенты, каким было восприятие текущей политики?

О.Л. Ну, Петр Серафимович, тут невозможно сказать обо всех сразу. Естественно, что все мы были разными людьми с разным жизненным опы-

том... Я помню, на первом курсе один молодой человек ходил на семинары по истории древнего мира с «Кратким курсом истории ВКП(б)» и пытался зачитывать оттуда что-то про «революцию рабов». Хватило одного саркастического замечания Игоря Геннадьевича Гурина, чтобы «Краткий курс» исчез с семинаров навсегда.

П.К. Это симптоматично. У молодого человека была ностальгия фамильная по сталинским временам?

О.Л. Я думаю, там отец или дед сказал что-то вроде: «Вот, сынок, возьми эту книгу»...

П.К. «Это Библия!»

О.Л. Вот-вот. Но для нашего поколения отношение к одной-единственной книге как к Библии все-таки было нетипичным. Ведь это было время, когда одна за другой появлялись очень нестандартные, нешаблонные публикации по истории дореволюционной России. Скажем, работы Эйдельмана про декабристов, где был представлен опыт «истории в сослагательном наклонении»: что было бы, если бы декабристы победили? Тогда же стали переиздавать работы русских философов XIX – начала XX века: на втором курсе, например, я писала у Надежды Николаевны курсовую работу по Чаадаеву... Для меня чтение Чаадаева было открытием другой логики мышления, другого видения мира, совершенно не похожего на то, к которому я привыкла. И, конечно, тогда я попала под обаяние этой мысли и именно поэтому заинтересовалась русской религиозной философией.

П.К. И тут мы подошли к очень любопытному моменту. Как вы дошли до жизни такой, что стали заниматься Бердяевым?

О.Л. Петр Серафимович, это провокационный вопрос – вы же сами предложили мне эту тему!

П.К. Да-да, это был очень интересный эпизод, о котором я просто не могу не вспомнить. Когда я встретился с вами в моем замечательном «кабинете», – а «кабинет» этот представлял собой холл на первом этаже университета, где было множество цветов и киоск «Академкнига», – так вот, когда я вас встретил в этом «кабинете» и спросил: «Знакомо ли вам понятие “бердяевщина”?» – вы просто подпрыгнули от радости. Очевидно, к тому времени вы этот термин уже слышали или встречали где-то в книгах? Ведь вообще-то этот термин относится к 1920–1930-м годам. Это слово – «бердяевщина» – можно было встретить в художественной литературе советских времен, когда там описывался, допустим, якобы слабохарактерный интеллигент, в очках, в шляпе, который противостоит власти, пытается что-то доказать, что-то такое невнятное сообщает, и это вызывает у окружающих раздражение – человек внешне непохож на других, да еще и не на нашем

русском языке выражается, а на каком-то странном диалекте...

О.Л. Какие-то там у него персонализмы, экзистенциализмы...

П.К. Вот-вот. Так когда же вы сами заинтересовались «бердяевщиной»?

О.Л. Впервые я узнала о Бердяеве при довольно необычных обстоятельствах. Все началось летом восемьдесят восьмого года, после того, как я окончила первый курс университета. Тем летом мы с мамой ездили в Москву и там попали – это тоже был символ эпохи – на выставку картин Ильи Глазунова. Гвоздем выставки было огромное полотно «Сто веков – Великая Русь» (потом Глазунов изменил название, и картина стала называться «Вечная Россия»). На эту выставку стояла огромная очередь, наверное, не меньше, чем в советские годы в мавзолей; прежде чем войти в выставочный зал, мы в ней отстояли не меньше часа. И вот, пока очередь медленно двигалась, желающим уже продавали репродукции «Вечной России». На этой картине был изображен грандиозный крестный ход, выходящий из ворот Кремля; бок о бок шли деятели самых разных эпох российской истории, не менее полутора сотен персонажей. А чтобы зрители могли разобраться, кто есть кто, к репродукциям прилагались схемы картины с указателями: все персонажи были пронумерованы, а внизу под порядковыми номерами указаны их имена и фамилии. И вот люди, стоя в очереди, разглядывали схему, обсуждали, какие фамилии им знакомы, а какие нет, кто чем известен, кто чем прославился; это напоминало коллективное отгадывание кроссворда. Помню, что я более или менее идентифицировала для себя всех персонажей этой картины, но вот под номером, по-моему, девяносто восьмым – где-то так, ближе к сотне, – значился «философ Бердяев», чуть ли не единственный во всем списке, у кого был указан род занятий. И меня это почему-то сразу задело за живое: почему же я ровным счетом ничего не знаю об этом философе, который, наверное, был очень знаменит в свое время? И когда мы вернулись из Москвы, я, занимаясь своими текущими делами в областной библиотеке, попутно выписывала из всех энциклопедий и словарей, которые мне попадались, любую информацию о Бердяеве. А прочитать о нем тогда можно было совсем немного: что он был «проповедником мистицизма и поповщины», боролся против советской власти и за это был выслан за границу... Эти короткие статьи из советских энциклопедий только заинтриговывали, вызвали желание разобраться – что же там случилось на самом деле, почему он не принял советскую власть, почему его выслали и так далее.

П.К. А тут еще как раз о нем Кабытов говорит...

О.Л. Да-да, а тут вы с этими словами про «бердяевщину». Я тогда решила, что это перст судьбы, не иначе.

П.К. На самом деле, обычно любой преподаватель, руководящий научной работой студентов, занимается «ловлей человек». Кого я хотел бы поймать в свои сети, если честно сказать? Я хотел бы привлечь к научной работе таких людей, которые бы увлеченно занимались ею, для которых она

стала бы частью жизни, частью судьбы. Меня в 1970-е годы тоже волновали концептуальные воззрения дореволюционных философов, тем более что я усиленно занимался изучением этих проблем. Но тогда, к сожалению, народ в университете был несколько иной, – я имею в виду студентов, – и найти людей, которые стали бы заниматься этой тематикой, было довольно сложно. Поэтому для меня ваше появление было своеобразной находкой. А потом, конечно, это направление стало разрабатываться более широко: была защищена диссертация Ирины Зайцевой о Г.П. Федотове, очень интересную работу написал Михаил Михайлович Леонов о князе В.П. Мещерском, Екатерина Федякина – о Питириме Сорокине... Я очень хотел, чтобы она в этой работе попробовала объяснить: что подвигло Сорокина заняться наукой, социологией? Ведь он был из крестьян, и, попав в городские джунгли, он мог бы там и потеряться. Но у него было высокое предназначение, может быть, даже ниспосланное свыше, и он это осознал очень рано. Когда он, еще мальчик, стал подниматься на церковные крыши, на купола, у него раздвинулись горизонты видения. Ведь что мы видим в селе? Небосклон, линия горизонта, поле, лес, дома – вот и весь кругозор, масштаб видения сельского человека, крестьянина: буквально верста-две. А поднимаешься на высоту – и видишь совершенно иное; а когда приходишь в церковь, здесь тоже свой космос, который возвышает душу, заставляет человека задуматься... Я думаю, что совокупность факторов, конечно, повлияла и на становление личности Сорокина, и на нашего замечательного философа Бердяева. Хотя если Сорокин в свое время увлекался революционными идеями, даже был секретарем Керенского, то Бердяев все-таки в меньшей степени болел этой краснухой...

О.Л. Переболел в юности...

П.К. Но переболел быстро. Знаете, почему я дал вам эту тему? Мне-то хотелось, чтобы вы попытались выявить, как ведет себя человек в экстремальных обстоятельствах (а революция – это экстрим). Как он воспринимает этот революционный пик, что с ним происходит, как меняются его концептуальные воззрения... Мы видим, что период революции – очень короткий во времени, но при этом очень благотворный для формирования новых представлений о жизни, о мире: если в период эволюции переосмысление старых концепций происходит медленно, то здесь сама жизнь заставляет задуматься и перейти к новым оценкам.

О.Л. Что касается Бердяева, то он, безусловно, был дальновиднее многих своих современников. Еще в самом начале первой мировой войны он почувствовал на интуитивном уровне, что дело закончится какой-то страшной, неслыханной исторической катастрофой. Он понял, что состояние человеческих душ, человеческой психики таково, что просто так, бесследно эта война не пройдет, чем бы она ни закончилась...

П.К. Бердяев, конечно, не напоминал наших слишком быстро перестроившихся современников, скажем, того же Волкогонова, который сегодня читал с кафедрального амвона одно, а завтра пришел – и стал читать совсем

другое. Тут, конечно, был мощный пласт внутренней работы...

О.Л. Конечно. В этом плане творчество Бердяева – это потрясающе богатая тема, и я вам признательна, что вы мне ее тогда предложили. Удивительно, насколько красивая, яркая, яростная, напористая человеческая мысль билась в его трудах и насколько насыщенную интеллектуальную жизнь он прожил, ведь, допустим, Бердяев 1915 года не похож на Бердяева 1920 года, а тот – на Бердяева 1940-го. По этой интенсивности мысли, по способности перерастать свои прежние воззрения Бердяев, пожалуй, из всех мыслителей XIX века напоминает только Герцена.

П.К. По способности к адаптации?

О.Л. Скорее, по способности подниматься над происходящим, оценивать его совершенно иначе, вдруг понимать, что в свете новых событий твои прежние представления о мире уже никуда не годятся, что надо строить что-то новое. И вызывают уважение те люди, которые находили в себе душевные силы не ломаться, не пугаться, а мыслить.

П.К. Если посмотреть первый вариант вашей дипломной работы, то вы сначала сделали из Бердяева эдакого небожителя, который одиноко живет где-то в космосе... На самом деле, конечно, если мы показываем развитие концепции Бердяева на фоне остальных его современников, то особенности его мышления высвечиваются более объемно.

О.Л. Дело было в том, что я первоначально подошла к этой теме не столько с исторической, сколько с философски-методологической точки зрения. Мы – три человека с нашего курса: Бэла Никитина, которая теперь работает на факультете социологии, Володя Климов и я – тогда ходили на внеурочный семинар к Наталье Юрьевне Ворониной. Это был самый настоящий философский клуб, туда приходили и аспиранты, и студенты, и преподаватели, при этом все общались на равных. Заседания проходили раз в неделю, по четвергам, каждый раз назначали докладчика, который должен был подготовить сообщение на определенную тему, – например, о Ницше, или о Фрейте, или о Пастернаке, – и дальше начиналось обсуждение, неформальное и очень острое. Мне эти заседания философского кружка дали очень много: это была великолепная школа дискуссии, школа умения отстаивать свою точку зрения, свой взгляд. Я настолько тогда была поглощена философией, что и на Бердяева смотрела с чисто философской точки зрения: есть совокупность созданных им текстов, и надо проследить логику его мысли, существующую внутри этого герменевтического круга.

П.К. Но ведь это некоторая оторванность от действительности...

О.Л. Это другой подход. Есть разные подходы к изучению явлений культуры: философский, исторический, культурологический. И если удастся их совместить, может получиться очень интересное исследование.

П.К. Конечно, для того, чтобы заниматься интеллектуальной историей,

историографией или историософией, нужно владеть исследовательским инструментарием, иметь какую-то универсальную отмычку, которая помогает проводить соответствующий анализ. Если же мы просто будем пересказывать содержание чужих трудов, то у нас получится скорее аннотированная библиография, а не научный труд. Это самый худший вид историографии.

О.Л. Пусть будет хорошая аннотированная библиография, в этом нет ничего плохого. Но тогда она и называться должна библиографией, а не историографией.

П.К. Конечно. Здесь же все-таки нечто иное, и, рассматривая любое историографическое сочинение, мы должны видеть и предшественников автора, и тех людей, которые сегодня работают над этой или над сходной проблематикой. Ведь иногда в процессе исследования происходят совершенно удивительные вещи: можно найти недостающие звенья цепи доказательств в художественной литературе или в какой-нибудь маленькой статье по лингвистике (например, о том, как меняется стилистика речи, жанры, терминология в революционную эпоху)...

О.Л. Чем мне нравится моя нынешняя область интересов, интеллектуальная история – именно возможностью совместить разные сферы исследования, допустим, поставить вопрос о взаимовлиянии историков на философов, социологов на историков, тех и других – на художественную литературу, изобразительное искусство... По сути дела, здесь мы можем взять интеллектуальную жизнь какой-либо эпохи целиком и посмотреть, насколько сходные процессы происходили тогда в самых разных сферах культуры. Допустим, эпоха Великих реформ в России 1860–1870-х гг. – это время торжества реализма в литературе, эпоха крупного реалистического романа, который в идеале должен был отобразить течение жизни как она есть. В изобразительном искусстве это была эпоха передвижников, для которых опять-таки было характерно стремление к полному реализму, к иллюзии «прозрачного стекла» между зрителем и тем, что изображено. Музыка той эпохи, «Могучей кучке» тоже была присуща тенденция к естественности, Мусоргский, например, всю жизнь стремился к тому, чтобы музыка передавала естественные интонации, человеческую речь. И в это же самое время в исторической науке ведущие позиции завоевал позитивизм, то есть господство факта, стремление отобразить историю, как она была сама по себе...

П.К. Мы здесь подошли к очень интересной проблеме – воздействия Великих реформ на духовную жизнь России. Развернувшаяся тогда модернизация как будто приоткрыла какую-то завесу, в обществе повеяло свежим воздухом, и это состояние интеллектуального, духовного подъема, безусловно, сказалось и на исторической науке. О русских позитивистах конца XIX века много писали и в советские времена, особенно в 1970–1980-е годы, – тут, конечно, прежде всего надо вспомнить труды Б.Г. Могильницкого, но в советской историографии общепринятым был тезис о кризисе исторической науки в России рубежа XIX–XX веков. Причем считалось, что этот кризис

был глубоким и всеобъемлющим. Я вспоминаю один методологический семинар под руководством Бориса Дмитриевича Козенко, на котором обсуждались эти проблемы. Так вот, когда докладчику задали вопрос: «А все-таки, каковы были истоки этого кризиса?» – он слегка вздрогнул и сказал: «Ну, появились большевики, и кризис обозначился»... Конечно, возможно, какие-то кризисные явления были. Но что такое кризис? Кризис – это признак развития, так что говорить об упадке российской исторической науки второй половины XIX – начала XX века, видимо, нельзя...

О.Л. Всем бы нам такой кризис!

П.К. Согласен. Такие методологические изыски тогда появились, такие мощные историографические исследования, учебники по историографии, курсы лекций...

О.Л. Шаг в развитии исторической науки, безусловно, был сделан колоссальный, причем одновременно в нескольких сферах. Смотрите: в начале XX века появилось множество методологических трудов, от Н.И. Кареева до А.С. Лаппо-Данилевского – по сути дела, методология истории оформилась как самостоятельная дисциплина. Сформировалась историография как особая отрасль науки; и это неудивительно – ведь к тому времени было создано столько ярких исторических трудов, красивых и интересных концепций. Это была эпоха, когда заканчивал свою научную карьеру В.О. Ключевский, а одновременно с ним работали и П.Н. Милюков, и С.Ф. Платонов, и А.А. Кизеветтер, и Н.П. Павлов-Сильванский, и Н.А. Рожков, попытавшийся объединить историю с социологической схемой...

П.К. Да, а потом появились и А.В. Чаянов, и П.А. Сорокин... Хотя, казалось бы, их работы носят исключительно социологический характер, но наблюдения Питирима Сорокина о голоде и революции очень ценны и для историков. Наука той поры – это вообще уникальное явление.

О.Л. Еще очень важно отметить, что в ту эпоху, в конце XIX века, ученые-гуманитарии работали не только для своих коллег, но и для читающей публики в целом. «Толстые журналы» того времени – «Русская мысль» или «Вестник Европы», – где на соседних страницах публиковались литературные произведения, публицистика, фундаментальные исторические или социологические труды, отражали реальный круг интересов читающей публики...

П.К. Показывали, что существует потребность общества в серьезном чтении.

О.Л. Конечно. И в этом плане можно провести параллель между рубежом XIX–XX веков, «оттепелью» 1950-х годов и временем «перестройки» рубежа 1980–1990-х. Во все эти периоды гуманитарное знание было востребовано, люди захлеб читали толстые журналы, потому что надеялись найти в них ответы на насущные вопросы современности, понять, в чем истоки наших проблем...

П.К. В этом плане я вспоминаю, кажется, 1988 год, когда я был на совещании в Институте истории СССР. Созвал его один из самых выдающихся историков-аграрников – Андрей Матвеевич Анфимов, и речь там шла, казалось бы, о частном вопросе. Дело в том, что в 1920-е годы Николай Петрович Макаров издал двенадцать томов статистического сборника «Движение землевладения в России» (имелось в виду движение помещичьего землевладения, его купля-продажа). И вот в 1988 году Анфимов решил издать тринадцатый и четырнадцатый тома, тем более что все материалы для них были подготовлены еще Макаровым до его ареста в 1930 году, он просто не успел их издать. На этом совещании был и Александр Иванович Данилов, и в ходе обсуждения сначала Анфимов, а потом Данилов рассказали о своей встрече с М.С. Горбачевым. Горбачев тогда впервые за свою политическую карьеру общался с историками. Вообще, для власти, особенно для коммунистической, нехарактерны встречи с учеными: если власть и общалась с ними, то в форме директивных указаний. Можно вспомнить товарища Сталина и то знаменитое письмо, которое вместе с ним в 1934 году подписали Жданов и Киров – замечания на учебник истории СССР. Если вспомнить более близкое прошлое, то приходит на память фигура бывшего председателя Совета министров Михаила Касьянова, который как-то сказал: «Не так историю написали!» Да и совсем недавно Путин тоже говорил, что историю не так пишут и не так преподают. А Горбачев, общаясь с историками, вел разговор совсем по-другому: он хотел понять – почему же, допустим, Александр I в 1801 году не стал проводить реформу по отмене крепостного права, почему Николай I не освободил крестьян, и так далее. Мол, если бы реформы были проведены еще тогда, то вполне возможно, что дальше модернизация в России пошла бы ускоренными темпами, с экономикой все было бы нормально, мы бы не хлебали щи лаптем и вообще вся наша история сложилась бы иначе, всей этой катавасии бы не было. Но, понимаете, в этих вопросах Горбачева все-таки наглядно выразилось, что наши политики, как правило, не знают собственной истории. Поэтому, наверное, правы были последние Романовы, когда поручали обучение своих наследников великим русским историкам – С.М. Соловьеву, В.О. Ключевскому, С.Ф. Платонову: незнание истории порождает множество ошибок.